

ЕВГЕНИЙ БАБУШКИН

ПЬЯНЫЕ ПТИЦЫ, ВЕСЁЛЫЕ ВОЛКИ

18+



«А вы точно
человек?»

ЩЕ

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Евгений Анатольевич Бабушкин

Пьяные птицы, веселые волки

Серия «Классное чтение»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57191860

Пьяные птицы, весёлые волки:

ISBN 978-5-17-127151-0

Аннотация

Евгений Бабушкин (р. 1983) – лауреат премий «Дебют», «Звёздный билет» и премии Дмитрия Горчева за короткую прозу, автор книги «Библия бедных». Критики говорят, что он «нашёл язык для настоящего ужаса», что его «завораживает трагедия существования». А Бабушкин говорит, что просто любит делать красивые вещи.

«Пьяные птицы, весёлые волки» – это сказки, притчи и пьесы о современных чудаках: они незаметно живут рядом с нами и в нас самих. Закоулки Москвы и проспекты Берлина, паршивые отели и заброшенные деревни – в этом мире, кажется, нет ничего чудесного. Но ваши соседи легко превратятся в волков и обратно, дети бывших врагов обязательно друг друга полюбят, а уволенный дворник случайно сотворит целый мир.

Содержание

Песни из-под палки	5
Волна первая	6
Встал в пять, пошёл работать	8
Волна вторая	15
И нарёк человек имена всем скотам	17
Волна третья	25
Сказка про серебро	28
Красные белые	35
Волна четвёртая	39
Песня про раскладушку	41
Песня про кофемолку	47
Волна пятая	51
Самые большие сиськи в городе	54
Песня про грязный дождь	60
Волна шестая	67
Девочка, которая убила Курта Кобейна	69
Волна седьмая	74
Стереометрия	76
Я начинаю путь	80
Волна восьмая	84
Ночь ноль	86
Конец ознакомительного фрагмента.	90

**Евгений Анатольевич
Бабушкин
Пьяные птицы,
весёлые волки**

© Бабушкин Е.А.

© Блюхер Ю.Н., иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ»

Песни из-под палки
*Хороший товар, можно
выменять на людей*



Волна первая

Я так устал, что вместо порно просматривал туры в Рим, Иерусалим, Багдад, Афины, лишь бы в тепло и к вечному, но всюду была война и втридорога.

Нашёлся Карфаген по скидке. Приятель ездил. Небо, сказал, сиреневое, но насрано у бассейна, а за холмом – чума.

Я кинул в рюкзак четыре дурацкие майки со словом «время», поспал в самолёте, проверил остаток денег – ноль – и лёг у моря. По периметру шла проволока. Но пальмы были как из мультика.

Целыми днями в отеле поили. Заливая водку газировкой, бармен пел:

– Ром-тириром! Тириром-ром-ром! Хорошо, друг!...

Последние пьяные, мы молча валялись на лежаках. И мы не удивились, когда из моря вышел, спотыкаясь, человек.

Он сказал нам «салам», а потом «бонсуар», но вгляделся в наши странные тапки и толстые лица и на хорошем русском спросил врача.

– Я дизайнер.

– Я бухгалтер.

– Я писатель.

Он засмеялся и плюнул кровью.

– Ты нарисуешь мне носилки на песке. Ты посчитаешь дырки в моём боку. А ты споёшь, пока я сдохну.

Море сделало долгое «шшш» и застыло, и я спросил, каких ему песен.

Он лёг на пляж, сказал, что всё сейчас исчезнет и что хотелось бы наоборот.

И я спел, как всё возникло.

Встал в пять, пошёл работать

Воскресенье

Уволили, а всё равно встал в пять. Пошатался по тьме, лёг обратно. Надо было как-то жить. А как жить.

Обнял себя от ужаса, не помогло.

Посмотрел в окно. Посмотрел в другое.

– Свет, – сказал.

И настал одинокий день. Пустой, пустейший совершенно.

Понедельник

Любил порядок и чтобы всё по-честному. Избегал дождя и разговаривать. Слова и капли всё не вставали как надо.

Работал уборщиком, потом уборщиком, потом уборщиком, потом старшим уборщиком – руководителем бригады.

Что-то такое зачем-то нашли в бумагах, какую-то гнусь,

какой-то лаз, и уволили из порядка в хаос легко и не заплатив.

Уравняло с дождём.

А вот и хорошо, что некуда идти. Сверху ливень без конца, снизу лужа без начала. Так всё бесформенно, что и незачем идти, и не надо.

Стоял и стоял у окна, ждал в этой жиже хоть кусочек твёрдого. И на секунду появилось небо.

Вторник

В холодильнике нашлись гнилая зелень и огурец. Зелень понюхал и выбросил, огурец разломил и съел.

Стал считать, сколько осталось денег, сколько можно на них купить огурцов и сколько нужно их в день, чтобы выжить.

Выжить не получалось.

А кто-то, подумал, ездит на море. Кто-то, подумал, ездит на светлые острова.

Среда

А раньше даже писал стихи. Не хотел убирать офисы, а хотел космонавтом, а лучше астрономом, чтобы самому никуда не летать, а смотреть на них в трубу. На самом деле там, в трубе, не видно никаких деталей, а всё такое же говно, но крупным планом.

Настала снова ночь, из тучи выпали луна и звёзды. Когда-то выучил, чтоб веселить девчонок, всё небо наизусть, но всё, забыл. Вот разве что Медведица, вот звёзды с краешка ковша и до кончика ручки: Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар, Бенетнаш. В детстве верхом на Мицаре сидела совсем незаметная звёздочка, но то ли звёздочка пропала, то ли сам состарился. Не вспомнил имени – видимо, выдумал.

Четверг

Вымыл посуду. Вымыл полки. Вымыл пол. Постоял. Постоял. Постоял. Вышел. Или слишком рано, или слишком поздно. Нигде и никого.

Сквозь остатки дождя уже проступили дороги. Постоял на

углу. Посмотрел наверх, увидел безымянную чёрную птицу. Птицы всегда одинаковые, как буквы. Посмотрел вниз, увидел жабу. Удивился. Давно — возможно, никогда — не видел жаб вживую.

Вернулся домой. Вымыл пол ещё раз.

Пятница

В офисе ждали мужчина и женщина. Мужчина блестел, будто его только сделали. Женщина была одета так хорошо, что казалась голой. Она пилила ногти, а мужчина ел из картонки что-то полезное, травы и семена, и задавал, жуя, вопросы.

- Претендуете на вакансию младшего менеджера по клинингу. Почему?
- Хочу порядок.
- Чем привлекла вакансии в нашей компании?
- Не понимаю вопроса.

Женщина хихикнула.

- Кем видите себя в нашей компании через десять лет?
- Через что?
- Десять лет.

– Не понимаю вопроса.

Женщина хихикнула. Мужчина вздохнул.

– Ладно. Берём. Свободны до послезавтра.

Пошёл домой, и снова было всё определённо, всё нормально, нет, не нормально – очень хорошо, всё – так! Сел на скамейку послушать мир, закрыл глаза, и под веками проступило то детское небо и та забытая звёздочка:

– Алькор!

И люди – заметил вдруг людей – обернулись на крик.

Суббота

Спал всю субботу. Думал: порядок! Написал стихи. Но, конечно, никому не показал.

И настал одинокий день.

Было так одиноко что

выходили в одном белье в одном носке

было так одиноко что

люди шли поперёк дорог

закрыв глаза.

Было так одиноко что
говорили с куском стекла в руке
говорили с куском света в руке
где ты господи
выходи на связь
это я человек у тебя в руке.
Я иду один
я иду один
я иона иуда и августин
я все те кто с тобой говорил в пути
выходи на связь
выходидиди.

А на небе вот
огоньки горят
это ты онлайн
сука ты онлайн
почему со мною не говорят
почему со мною не говорят.
Было так одиноко что они
так и шли себе продолжали ночь
продолжали ночь продолжали ночь
и настал одинокий день второй.
И сказал бог: да соберётся вода.
И стало так.

И стало так.

И надо как-то жить

в такие дни

а как жить

в такие дни.

Воскресенье

Встал в пять, пошёл работать.

Волна вторая

На севере было море, на юге пустыня, на западе фламинго гуляли по бескрайней помойке, а на востоке клубился город, похожий на кучу волшебных тряпок.

Нет ничего скучней отелей не в сезон, нет ничего прекрасней. И чтобы нас развлечь и чтобы красота была не так невыносима, затейники заводили с утра омерзительный хоровод, и мы пили так, что путали концы света.

Раненый выжил. Весь день из воды, из песков и из мусорных куч сходились другие выжившие. Они пытались даже улыбаться и говорили: «Хорошо, друг!» и совсем не больно тыкали винтовками – собирали к бассейну.

– Меня зовут Али.

Раненый вытер кровь со рта и сделал паузу, и она вышла красивой, потому что на море всё красиво.

– А эти усталые люди – мои родные. Самый первый Али был двоюродным братом Пророку. Вы тоже можете называть меня братом.

Он посмотрел на нас, на пляжный бар, на лестницу, на

солнце, на много лет пустой фонтан.

– Всё это вы купили. Еду, режим, веселье. Вот в это вы бежали. От голода, хаоса, скуки. Вы сами оплатили несвободу, а кто-то даже взял её в кредит, так что считайте меня частью развлекательной программы. За воротами – прежняя жизнь. Там надо бороться за мясо, бороться за место, бороться за смысл. Там полная свобода. И я даю вам выбор. Остаться тут, где бесконечный завтрак, стрелки старых часов замирают в полдень и вечерний конкурс караоке. Или повернуться спиной ко мне и к моим винтовкам, рискнуть – вдруг не выстрелят – и выйти на чумное шоссе до старого аэропорта.

Солнце долго и нудно садилось и просто упало с неба.

– Вы свободны, – сказал Али.

Мы подумали и продолжили пить по браслетику «всё включено». Что мы там снаружи не видели, Карфаген же, край мира, обманут и ограбят.

А у фонтана сел Али и посадил меня напротив.

– Ну что же, спой.

– О чём?

– Ну, например, как ты тут оказался.

И нарёк человек имена всем скотам

1

Бог сделал и это, и это, всё это большое пространство, чтоб мы тут все сгорали от любви. А дьявол сделал, чтоб мы сидели по углам от ужаса. Дьявол сделал время. Оно на исходе. Но вы успеете. Это сказка на семь минут, и вам покажется, что она грустная, но я смеюсь, танцую и пою. Правда.

2

За городом было пусто, а дальше был сад: цвёл, сох, гнил, замерзал и снова цвёл. В саду был дом, пустой, с пустыми комнатами. Приехали хозяин и хозяйка, достали из приятных коробок любимые вещи, расставили по местам.

Лису сажали на пол, чтоб дверь не хлопала. Стоппер дверной приставной «Плутовка» – кожа, песок – одна штука. В доме каждый был при деле. Голова собаки – работала ручкой обувного рожка. Филин – кружкой. Он посматривал на Полкурицы и ныл напоказ.

– Обидно: хищник, а из тебя пиво.

– Ты ку-ку, мы разных видов, – говорила Полкурицы. Она

работала крышкой кастрюли и была чугунная, а он стеклянный.

3

Глаза у хозяйки были как тёплые пуговицы, грудь из упругого плюша. Хозяин был – ну, просто человек. На ужин он долго тыкал ножом продукты, садился во Льва, зажигал Пингвина и пил из Филина, а хозяйка – воду из безымянного бокала.

– Кормят себя, кормят. Поят, поят. Нет бы меня.

Так говорил Кот. Он часто притворялся вещью, но был из мяса и мясо ел, Кот был опасен, он мог разрушить что угодно. Хозяева любили Кота, потому что вообще всё любили. Постоянно друг друга гладили и вещи тоже. Филина мыли особым составом для блеска. Даже Сом, туалетный ёршик, не был обижен.

Не трогали только Лису, зачем ласкать и чистить стоппер. Она торчала между кухней и залом, пылилась, ругалась.

– За ничто нас держат. Работаем, где посадили. А сами живут по-настоящему. Ходят!

– И ты ходи, – говорили Тапки с мышинными ушами.

– Я не такая. Я в плену своих убогих функций. Боюсь, так

будет всегда.

– Бойся лучше Кота, – говорили Тапки.

4

Хозяин садился в машину и ездил в город, видимо, работать. В машине пластмассовый родич Кота лупил воздух ладной на удачу, но ни с кем не общался, потому что его укачивало.

Без хозяина хозяйка всё мыла и мыла Филина, переставляла Тапки и рассматривала снимки: цветные – из путешествий, чёрно-белые – изнутри её головы.

Накинув Павлина, она выходила в сад, где в эту пору было всё совсем живое. Среди сирени стоял Олень.

– Не понимаю. У меня вопрос. Зачем я тут?

– Похоже, ты садовая скульптура, – говорила Лиса.

– Это не ответ.

У вещей всё связано, так что Лиса и Олень легко разговаривали сквозь стену. Говорят, одна разлучённая пара Синичек-варежек флиртowała целую зиму, пока левая не истлела под дождём, а из правой не сделали милый мешочек для всякой ненужной дряни. А людям трудно быть вместе, даже

когда они вплотную.

Хозяин приезжал, готовил, гладил хозяйку, та вздрагивала, а в общем всё полулежала в кресле, переводя взгляд с вещи на вещь.

5

Все рты у вещей нарисованы, уши тоже. Друг друга они понимают, а людей не слышат. Но Кот был ни нашим ни вашим, кое-что знал про речь и хвастался.

- А что такое, если рты кружком?
- Это «О».
- Зачем оно?
- Для боли, бога и бом-бом.
- А если рты распахнуты?
- Это «А». Для барабана, рака, мака.
- А если они целуют воздух?
- Это «У». Для сумерек и если кто-то умер.
- Что значит умер?
- Дам по тебе хвостом, расколешься и будешь так. Это умер.

В лёгкие вечера хозяева акали, окали, ужинали, потом хозяин плакал, но это видел только Сом.

В трудные вечера хозяин метался и наливал что попало куда попало.

- Так я скоро останусь без работы, – говорила Полкурицы.
- Зато у меня карьерный рост, – говорил Филин.
- Да ты как был ку-ку, так и остался.
- Эй, народ, – говорил Олень. – У меня вопрос.

6

Однажды хозяйка у-
у-
у-

пала обратно в кресло, закрыла глаза и разжала губы, и хозяин к ней как-то совсем неуклюже кинулся (хотите понять, как это увидели вещи, просто поставьте кино без звука). Другие люди приехали довольно скоро и довольно осторожно забрали хозяйку, а он ушёл следом.

Кот покричал для порядка и сел в центр.

- Куда её?
- В больницу, куда.
- Что это?
- Там белое. Там отнимают кусок тебя. Я там был.

Вещи молчали.

– Ну всё, – сказал Кот. – Теперь я главный.

И он противно завыл, но это была песня.

тебя пингвин я буду катать.

тебя лиса терзать

мните кота мните кота

глядите ему в глаза

а если меня недостаточно мять

тогда настанет грусть

тебя олень я буду хрясь

тебя полкурицы кусь

7

Никого долго не было. Кот насорил, унизил Тапки, разбил обычных кружек, но Филина не тронул, исхудал и не двигался, как вещь.

В саду всё пело.

Хозяин вошёл в дом как-то боком, будто у него отняли не часть, а всего его целиком.

Пнул, но случайно, Лису. Дверь двинулась. Взял водки,

налил в Филина, выпил, посидел, заснул сидя.

8

Всё наладилось и покрылось пылью. Хозяин никуда не ездил. Кот одичал и научился добывать еду в саду, каких-то что ли насекомых.

– Эй, Кот, – говорил Олень. – Есть одна тема.

– Мяу, – говорил Кот. – Мяу.

Однажды хозяин встал, прошёлся по комнатам, закрыл, что закрывалось, взял Кота, засунул в сумку с дыркой, в другую сумку накидал вещей, но безымянных. Смёл сумкой Филина с края стола, оглянулся на звук, чертыхнулся, вышел в сад, постоял там и ушёл, уехал в город, видимо, работать.

От Филина осталось меньше половины, часть крыла, немного глаза.

– Как ты? – спросила Лиса.

– Помнишь, Лиса, они говорили о боли? Кажется, это боль.

Бог сделал и это, и это, всё это большое пространство, чтоб мы тут все сгорали от любви. А дьявол сделал, чтоб мы сидели по углам от ужаса. Дьявол сделал время. Оно на исходе, сказка кончается. Я собрал её из чего попало: чихнул от сирени – и вот сирень. Из мяса на завтрак, из найденной рукавицы, из тревоги, и если вам тоже тревожно, то вот вам сказка. А ещё нам с женой подарили лису, просто песок подарили в лисьей форме, это стоппер дверной приставной, отлично бы смотрелся в летнем доме, в любом доме, но зачем нам лиса, если дома нет.

Волна третья

Кончилась очередная война – и карфагенские крепости перестроили в тюрьмы. Кончились недовольные славной победой – тюрьмы стали отелями. Потом на берег выпрыгнули катер каких-то, допустим, римлян, и всех убили, сначала на пляже, а позже и тех, на катере. После римских атак побережье опять укрепили. Двумя словами – «вы свободны» – Али превратил наш отель обратно в тюрьму. И теперь достраивал тюрьму до крепости. Весь день он гонял по отелю братьев: проверь-ка то окно, ту дверь, ту крышу. Молчаливый, как поэт, и спокойный, как прораб, и уж точно не очень похожий на террориста.

Стемнело; он позвал меня.

- Спой про войну.
- Про эту?
- Про любую.
- Откуда ты знаешь русский?

Али налил себе сам, но не выпил.

- С чего бы не знать?
- Я думал, вы арабы. Тут пустыня.

Али рассмеялся и щёлкнул пальцами. Явился брат и рассмеялся тоже, во рту сверкнула пустота и сталь.

– Если бы ему оставили язык, он рассказал бы про тихий греческий город, откуда родом.

Он щёлкнул снова.

– Иероглиф на левой руке – имя его любимой, она мертва. На отрубленной правой было имя его деревни.

Он щёлкнул в третий раз.

– А этот брат из вавилонских пригородов. Там теперь вообще ничего нет. Спой и ты про войну.

– Но я не воевал. Я даже не служил. Друг вернулся из армии с красным лицом и серыми зубами – вставили подешевле вместо выбитых.

– Конечно, воевал. Мы берём города как женщин и женщин как города. Бойня за вещи, бойня за деньги, бойня за хорошие имена. И если ты уверен, что не видел войн, значит ты их просто проигрывал.

С каждой невыпитой рюмкой фальшивой текилы Али говорил всё лучше. С каждой выпитой я всё лучше его понимал. Он хлопнул в ладоши, молчаливые братья сделали шаг

назад и растворились. Отовсюду подуло холодным ветром.
– Пой, – сказал Али.

И я спел. Не потому, что на подносе лежал пистолет. Просто нет ничего приятней, чем спеть на море.

Сказка про серебро

Салмон, человек с монетой в глазу, рассказал эту сказку Воозу, Вооз – Овиду, Овид – мне. И если что-то потерялось по пути, так потому, что люди – люди.

Жили на свете четверо. Часы у них стоили как машины, машины – как дома, дома – как дворцы, дворцы – как царства. Кто они, откуда, все забыли. Пропали, кто помнил их имена. Но было известно: Перец поднялся на овощах, Камень – на стройке, Газ – на газе, Стекло – на трёхлитровых банках, а после, конечно, тоже вложился в газ.

Шесть дней они вели дела, а на седьмой играли в карты.

– Лям, – говорил Перец.

– Два, – говорил Камень.

– Три, – говорил Газ.

– Пас, – говорил Стекло.

Мужчины сидели в мраморном зале, женщины – в жемчужном: говорили новыми губами, улыбались новыми щеками. Молчала лишь Маша, женщина Камня. Он взял её из ниоткуда, из продавщиц, за красотищу. Она, стесняясь, выпивала много коньяка, икала, падала и в пьяном сне становилась вообще идеальная.

Снаружи ждали люди Перца, люди Камня, люди Газа и человек Стекла – Салмон, который стоил многих. Салмон учился на историка, но вовремя узнал, что нож выгодней, и начал жить чужую жизнь.

– Есть, – говорил Стекло. И Салмон резал мясо.

– Спать, – говорил Стекло. И Салмон сторожил дверь.

– Трахаться, – говорил Стекло. И Салмон приводил ему женщин с ножом у горла.

Однажды Стекло проиграл Камню дом и обиделся.

– Маша, – сказал Стекло.

– Кажется, Камень её ревнует, – сказал Салмон. – Будет плохо.

– Чё? – сказал Стекло.

Кто делает деньги, тот и спрашивает. Кто разбирается в материальной культуре поздней античности, тот и отвечает. Стекло делал деньги на всём, что видел, но деньги были невидимы, а он любил потрогать. И за настоящее платил настоящим: за смерть – золотом, за мелкие увечья – бронзой и серебром – за прочие услуги. Стекло достал монету:

– Это чё?

– Серебряная гемидрахма диадоха Лисимаха.

– А это чё?

– С аверса – бык, с реверса – горгонейон.

– Чё?

– Лик Медузы. Вот как Плутарх объясняет его смысл...

– Маша.

Салмон нашёл Машу в особом салоне для самых богатых женщин: одна рабыня обкусывала ей ногти на ногах, другая на руках, а сама Маша была с утра пьяная.

– Милая Маша, чувства Стекла чисты, мысли остры, желания прозрачны: он хочет вас. И ждёт у себя немедленно. Этот скромный букет – от него.

– Пошёл он! – сказала Маша. – Мне с Камнем ок.

Салмон вернулся.

– Маша, – сказал Стекло.

И достал золотую монету.

Перед рассветом, когда самый сон, Салмон пришёл в дом Камня и встретил человека Камня.

– Извините, – сказал Салмон и всадил ему нож в шею.

Он извинился ещё трижды, и в четвёртый раз – перед Камнем лично. Маша этого всего не видела, она запила коньяком

таблетки и лежала поперёк постели. Салмон взял её на руки – такая тонкая – такая – взял на руки, отвёз к Стеклу, тот разбудил её ударом кулака и сделал что хотел. Стекло считал, что крики – несерьёзно и что ей на самом деле нравится.

Салмон не знал, куда её везти обратно, и просто высадил на самой красивой набережной, и она пошла куда-то, тоже самая красивая, хоть и в синяках немного.

За карточным столом остались трое, им стало скучно, сложно и обидно, и однажды к Салмону пришёл какой-то новенький, с маленьким пистолетом.

– Нехорошо, дорогой. Надо платить, дорогой. Фалес говорил, что всё вода, но он был неправ, дорогой. Всё – расплата.

– Я вижу, ты приличный человек, давай решим как равные.

– Мы, дорогой, не равны, дорогой, у меня по архаике красный диплом, начал бы диссер, если бы не вся эта скотобойня. А ты, дорогой, недоучка, с четвёртого курса выперли.

– Ты сам недоучка! Сколько было Лакедемонидов?

– Восемь, и Тиндарей – дважды. А Атталидов?

– Пять.

– Шесть.

И выстрелил Салмону в глаз.

Салмон рассказал эту сказку Воозу, Вооз – Овиду, Овид – мне. А я повидал и царей, и зверей, и наполовину еврей, и знаю, что пуля не пробивает голову, а застревает в ней и можно выжить. Можно.

Салмон очнулся, перед ним сидел Стекло.

– Дзынь! – сказал Стекло.

И всё пропало. Салмон очнулся снова.

– Гада того я сам кокнул. А тебе вставим новый глаз.

Но Салмон не захотел нового. Когда он вышел из больницы, в глазу у него было два с половиной грамма античного серебра – быком внутрь, Медузой – наружу.

Пока он спал, настала слишком ранняя зима, и серебро в глазу совсем заledenело. Салмон коснулся монеты и засмеялся: это же что-то особенное – трогать распахнутый глаз.

Он засмеялся одним глазом, заплакал вторым, пошёл к Стеклу и попросил свободы.

Он продал половину скопленных монет, не поднимая глаз, купил квартиру в новостройке и пошёл охранять библиотеку – брали с неоконченным высшим.

Сидел у книг, надвинув капюшон пониже: кто в наше время смотрит в глаза, мало ли что там увидишь.

Газ, Перец и Стекло довольно быстро перебили друг друга, их царства поделили скучные люди без особенных дыр в душе. Салмон ходил с работы, на работу и думал: хорошо бы дописать диплом.

Однажды Салмон встретил Машу. Она была уже не такая красивая, потому что в ней побывал Стекло и ещё стало меньше маникюра и больше коньяка, паршивого. Она вернулась в магазин, работала в ночь и не узнала Салмона, потому что он был из сна про чужую жизнь, а она теперь жила своей, настоящей, единственной, то есть может, конечно, и нет, но некоторые вещи проще забыть намертво.

– Воды, – сказал Салмон. И Маша продала ему воды.

– Спасибо, – сказал Салмон. И впервые за долгие месяцы поднял глаза.

– Едрить! – сказала Маша. – Извините. Какая монетка. Вам там не больно?

– Нет, – сказал Салмон. – Мне хорошо. Можете потрогать.

– Страшная. Смешная.

– Это горгонейон. Он нарочно такой, чтобы зло окаменело

от удивления и миновало человека. Так, во всяком случае, полагает Плутарх.

– Чё-то вы больно умный.

– Это просто моя монетка на счастье. Кстати, у меня дома много таких.

– Чё-то вы больно шустрый.

Салмон опустил глаза.

– Что вы делаете сегодня вечером?

– Ночь уже. Кончится – спать. А завтра в день работаю.

– Так я приду завтра.

– Так приходи.

И Маша стремительно улыбнулась, и Салмон подумал, что зуб можно и вставить, и даже серебряный, хотя, наверно, лучше без затей, достаточно и одного уroda в семье.

Салмон рассказал эту сказку Воозу, Вооз – Овиду, Овид – мне. Но не до конца. Я не знаю, что там было завтра. Но предпочитаю думать, что они жили долго и счастливо, познавая друг друга так и сяк, и однажды, вдруг от всего очнувшись, она присмотрелась к мужчине рядом... Нет, так не будем, не будем так. Жили долго и счастливо, пока тонули города, горели народы, восходили и рушились царства, пропадали названия с карт и сами карты, жили, жили, пока текст не впитал их до последней буквы.

Красные белые

Наши с Татой прадеды зарезали друг друга за холмом, за холмом, где кончается земля.

Татиного прадеда, наверно, закопали целиком, а моего не целиком, а кое-как.

Её был за белых, мой за красных, патроны кончились, ну вот и всё, примерно так, нож в ухо.

Воевали годы, без новостей, дул этот топтанный ветер, шёл этот топтанный дождь, и приносили мёртвых иногда.

Тем летом у белых не ели мёртвых: поспели ягоды. А у нас голодали, и прадеда – в суп. Пришёл комиссар, надавал подзатыльников:

– Картошку – пополам. Или будет вариться вечность.

Это дед мой видел сам. Видел, как варили похоронник. Я и сам его умею, с курицей, конечно. В хороший похоронник добавляют бузины. Хороший похоронник варят с песней про победу. Про нашу, конечно.

Наутро прадедов проводили. Когда в поединке нет победителей, мы миримся на день и хороним рядом.

Дед тогда впервые видел белых. Убив красного, белый вышивает листик на мундире. Генерал их был как роща. Убив белого, красный вышивает звёздочку. Комиссар наш был как небо.

На могиле прадеда поставили рожок: чтоб ветер дул. На могиле его врага бросили барабан: чтоб дождь бил.

Мы с Татой так и встретились, на соседних могилах. Я к своему пришёл, она к своему, послушать музыку. Но барабан истлел, рожок украли: цветмет же.

Стояли незнакомые. Не знаю, как она, а я всё думал, за чем воевали. Дед говорил так: белые были, чтоб было как было. Красные были, чтоб было как не было. Я за красных, конечно.

Звать её, сказала, Татой, как пулю из пулемёта. «Тата, нет ли выпить?» – спросил я, а Тата спросила, что бы я хотел на своей могиле.

– Пусть посадят рябину и положат камень. А на камне высекут «эти ягоды можно рвать».

– Рябину? Горькая.

– Облепиху.

– Колючая.

– Кизил.

- Капризный.
- Вишню.
- Черешню.
- Вишню.
- Иргу.
- Я люблю вишню.
- Но ты будешь мёртв. Извини, конечно.

Вот раньше была работа: выковыривать мох из букв, драть лишайник с крестов, стричь кусты на холмиках. Теперь всё заросло совсем. Кладбища становятся лесами, если их не подкармливать.

– Вот война и кончилась.

Или что-то вроде этого кто-то из нас сказал.

Дед мой жив и всё знает, но ничего не видит: белые сожгли его глаза.

Показал ему Тату, ноздри у него вздулись и остались так. Тата почуяла и вздрогнула.

– Нет, – сказал дед, – женщин мы не убиваем. Или некому будет смеяться на наших похоронах. Дай сюда лицо. Никогда не трогал белой.

Наши с Татой правнуки тоже друг друга зарежут. Это правильно. Войну так просто не того. Не кончить.

Но вот что я сделаю прямо сейчас: брошу печатать, возьму её за руку, пойдём сквозь лес, без ножа, как нормальные, ну вот и всё, примерно так, никому не предки, не потомки, никакого ветра и дождя, ничего такого, и будто вовсе всё иначе, чем было и не было.

И, кстати, всё-таки рябину.

Волна четвёртая

Шла война, но пока никого не убили, шла чума, но в отеле никто не чихнул. Мы толпились в магазине сувениров и вместо окон пялились в магнетики. Деньги больше некуда было тратить, и один и тот же верблюд из фальшивой бронзы переходил из рук в руки, дешевле и дорожая произвольно.

Я шатался, заглядывая мужчинам в кошельки и женщинам в чашечки купальников. Всюду распускалась жизнь.

– Я завидую вам, – сказал Али. – Я завидую сам себе. Это страшное время, хорошее время. Можно купить раба и пиццу на дом. Взять грузовик героина и личного врача на сдачу. Подгузники онлайн новорождённым и умирающим. Я завидую, но грущу: всё стало рынком, а рынков больше нет. У них, у настоящих, у последних, не бывает сайтов и приложений. Там даже вывесок не нужно. Вместо вывесок там птицы. Я видел битву соловьёв на карфагенских площадях. У лавки халатов золотая клетка. У лавки кувшинов серебряная. Чей соловей споёт красивей, у того и купят весь товар. Ни халаты, ни кувшины людям не нужны, у них нормальные штаны и пароварка. Это не ради покупок, а ради песен.

Я уже знал, что закончит он чем-то вроде «спой и ты», и напал первым.

– Я устал тебя развлекать, Али. Ты пришёл непонятно откуда, идёшь непонятно куда, ты готовишь отель к непонятно какой осаде, и мне непонятно, заряжен ли твой пистолет. А ещё та ленивая болезненная брюнетка дважды облизнула губы, глядя на меня, и текила кажется бесконечной, и мне на всё плевать. Раз мы на рынке, давай торговаться. У меня куча неспетых песен. У тебя полно заложников. Поменяемся?

Али молчал. Плохой торговец кричит, хороший ворчит, а лучший сбивает цену молча.

– Отпусти хотя бы детей.

– Разве музыкантам платят сразу золотом? Разве им не положены медяки?

– Что это значит?

– Что дети – товар товаров. На беременную тройней девочку-подростка можно выменять роту бойцов. Я придерживу детей, они мой золотой запас. Но я отдам тебе пригоршню бедных, бесплодных, бездетных, неумных и одиноких мужчин. Спой про них, и я их выпущу.

Песня про раскладушку

В июне снова пошёл снег. Надо было валить.

Жена дала сумку хлеба в дорогу, Марат сел в поезд, положил под голову батон и забыл её лицо. Ехал ночь, и ночь, и ночь, из полярного дня в обычный, и не спал ни минуты: шумело. Позади ничего, ни работы, ничего, а в Москве земляк держал обувной, обещал устроить-роить-роить.

– Москва, – сказал Марат.

– Гыр-гыр-гыр, – сказала Москва, – хыр-хыр-хыр.

Работа была – раздавать бумажки. Новые сапоги, скидки на сапоги. Новые сапоги, скидки.

Вечерами, обалдев от бесконечности, Марат катался по кольцевой. «Курская» – двери закрываются – «Курская» – двери закрываются – чудо.

– Шын-шын-шын, – пела ночь, – фын-фын-фын.

Марату было ничего, тепло. С первых денег взял жёлтые шорты, футболку, сигареты подороже. Новые сапоги, скидки на сапоги. Новые сапоги, скидки.

Спать он так и не научился снова. Соседи мучили Марата. Один храпел, другой пердел, третий плакал: в горах, под самым солнышком, умерла его мать, он плакал и слал деньги теперь уже в никуда, по привычке.

– Э! – сказал Марат однажды ночью.

– Чего?

– Не чегокай.

На излёте лета в общагу привели негра. Сунул руку, сказал:

– Тарам.

И – раскладушку в проход.

Тоже устроился раздавать. Подпрыгивал и пел:

сезонны

сезонны

сезонны воу-зонны

покупай!

(ага)

покупай!

(ага!)

сезонны

сезонны

сезонны-воу-зонны

ликвидат

ликвидат

Ликви-дидли-дидли-дат

Осень прошла как осень. Первому снегу Марат усмехнулся как родному, а Тарам замерзал и пел всё громче:

расса

пара-дири-дари

дажа

распродажа

рассы-пара-дажа

сапо

тапо

сапотапоги

воу-сапотапо

ги

Ночи были всё знакомей, ледяней, но Марат не спал. Один храпел, другой пердел, третий больше не плакал, но принял-ся, сука, шуршать. И Тарам поддакивал:

рассы-калы-раскладушка

рассы-йоу-ка-ладушка

йоу рас

йоу ка

йоу тири-пири-дири-мири-ка

Он тоже разучился спать.

Марат полюбил, что в городе много стекла и зеркал. Смотришь – а там лицо: круг, и в нём два круга, и в кругах по кругу, и в кругах по кругу.

В общежитии тоже было зеркало, и Марат видел себя детально: голова как валун, глаза как бесцветный полярный лишайник, который за тысячу лет вырастает на сантиметр.

Вечерами варили пельмени, смотрели телик на общей кухне. Показывали опять какой-то ад с разорванными ртами, Тарам рассмеялся и ткнул в экран:

– Дом!

У него было немыслимое лицо.

Под Новый год обувной разорился. Хлопнули по плечу, выдали последнюю зарплату: кроссовки, коробку подмётки, клей и четыре шила.

А в общем в магазинах было людно.

сезонны

сезонны

сезонны воу-зонны
покупай!
(ага)
покупай!
(ага!)

Марат подумал, что купить, и купил батон, а на батон икру: красиво. Город разъехался, Марат остался. На звонки не отвечал, и из дома звонить перестали.

Вышел в центр посмотреть салют. Но было перекрыто, перепутано, никто не знал ни пути, ни обхода, и как-то мимо всех Марат пришёл в безымянный тупик под звёздами.

– Ты-ты-ты, – шептала ночь, – чи-чи-чи.

Однажды богатая тёлка взяла из жалости все его бумажки – на пальце камешки блеснули – и в ухе камешки, – и стало ясно, что можно – и стало – и стало ясно, – и вот такие были звёзды.

Вот такие:

* * *

Вернулся в общагу. Лёг. Тарам тоже уже лежал во тьме и

бормотал, как прежде:

йоу рас

йоу ка

йоу тири-пири-дири-мири-ка

Взял сапожное шило, воткнул ему в горло, заснул.

Спал крепко.

Проснулся рано.

Вышел в Москву.

Она молчала.

Песня про кофемолку

Ударишься головой – минус час жизни. Так в школе ска-
зали. В школе было интересно – птицы, волны, треугольни-
ки. Дальше хуже.

В тридцать три Артём ничего не умел особенного и ра-
ботал в кафе при вокзале: клал колбасу на хлеб, колбасу на
хлеб, делал кофе. Две ложки растворимого на чашку. Одна
– жидко, три – гадко. Влево-вправо шли поезда.

Артёму не везло с пространством, всё спотыкался, бился
головой о вещи и считал, сколько жизни потеряно.

Дома было нормально: ковёр, компьютер. За стеной жи-
ли тоже люди, соседи. По пятницам соседи отдыхали: пили
водку в старой песочнице, говорили слово-два. Сосед Антон
приносил гитару, сосед Андрей дул в бутылку, Артём пел:

ой да кофемолка хороша
девочка-мещаночка
ой у неё болит душа
жестяная баночка
ой да кофемолка к утюгу
ручкой нежно тянется
а утюгу всё пофигу
он мудака и пьяница

Пришла зима, слепили как могли снеговика: шар на шар на шар.

Вот так:

О

О

О

Встали редкие морозы, и снеговик зажил. Антон принёс ветки, сделал руки. Андрей принёс палку, будто костыль. Артём растопырил пальцы, ткнул в снег и там подержал: глазницы.

Шли поезда. В кафе сидели люди.

– Почему, – сказал хозяин, – ты живёшь с таким лицом? Людям надо улыбаться.

И срезал зарплату на четверть.

Снеговик простоял месяц. Решили праздновать. Антон взял сгущёнки, Андрей водки, Артём украл на работе банку кофе. Смешали, согрели, выпили: тепло, красиво. Стали снеговiku придумывать имя, но не придумалось.

ой кофемолка ё-моё

жестяная девица
то песню жалобно споёт
то совсем разденется
то скажет все свои гу-гу
то молчать останется
ой но кофемолка утюгу
ну совсем не нравится

Две ложки на чашку. Две ложки на чашку. Выручка падала. Артём всё спотыкался и проливал кофе на себя, людей и на пол.

– Эй, – сказал хозяин, – бля!

И срезал наполовину.

Снеговик оплыл и покосился, но жил третий месяц. Артём работал, Антон работал, Андрей работал. В кафе поменяли колбасу на рыбу и однажды привели молодую женщину с кожей как снег.

– Мы, – сказал хозяин, – нормальную вместо тебя взяли. Прощай.

И Артём пошёл.

Соседи ждали праздновать. У снега не было уже ни глаз,

ни рук, ни костыля, но всё ещё было ясно, что это вот не просто так стоит вот тут, что это кто-то задумал и создал, что это он, Артём, сам собрал вот это вот, от которого скоро ничего не останется.

Зима кончалась, надо было как-то дальше.

ты дорогая не грусти
утюги все сволочи
ой да ты пущай прощай прости
кофе-кофемолочка
ой но почему кругом нули
показали донышко
ой да ты кого-нибудь моли
и мели по зёрнышку

– Сука, – сказал Артём и пнул снеговика в середину.

В глазах соседей засияли слёзы. Артёма долго, скучно били.

Очнулся, облизнулся. Минус день.

Волна пятая

Белое мясо розовело, розовое – чернело, мы загорали до ожогов, объедались до поноса, напивались до полудня. Братья дежурили по периметру, ждали чего-то, а мы в час обеда строили башенки из баранины, крепости из куриных ног.

Глядя на гору подносов, Али сказал:

– Я видел холодильники, они бескрайни. Видел цистерны, они бездонны. Видел поваров, они никогда не спят. Но если столько жрать, и бесконечность кончится. Отель в осаде, в него не подвезут продуктов.

Отель кричал детьми, скрипел столами, и обернулись только ближние:

– Ну уж! – сказал бухгалтер.

– Нет, – сказал дизайнер.

А я попытался засунуть сразу четыре котлеты в рот.

Первая пуля влетела в небо, вторая ждала в пистолете, а пистолет был приставлен к виску случайного толстяка.

– Или, – сказал Али, – вы будете экономить, умирая по одному.

Звякнула вилка. Потом другая. Женщина вышла к Али, неумело вильнула задом и покорно спросила, что она может сделать, чтобы спасти вот этого вот человека, с этими пятнами на футболке, с этими страшными складками и сальными прядями. Да, он довольно противен, она не спорит, и не спал с ней уже полгода, даже отпуск не помогает, но он всё-таки муж и однажды, давно, подарил ей тюльпан и сказал, что она – рыбка. Что она может сделать?

На севере море слепило светом, на юге пустыня манила тьмой, на западе стая фламинго нашла на помойке особенно вкусный пакет, а из чумного города на востоке летели песни.

Али подошёл к ней и обнял, готовясь, казалось, то ли сорвать купальник, то ли вовсе её задушить, но нет – поцеловал в край сухих искривлённых губ и что-то шепнул, и она заплакала.

Я думаю, он ей шепнул, что она свободна. А мне он сказал другое:

– Заряжен, как видишь. Давай продолжать игру. Давай, как эта добрая жена, менять добро на зло. Спой про женщин. Сколько раз им в твоих песнях будет плохо, столько раз я

сделаю им хорошо. Я отпущу их.

– Тогда, Али, отеля будет мало. Тогда тебе не хватит и целого побережья.

Самые большие сиськи в городе

Тот, кто прячется в языке и в мясе, разделил нас на мужчин и женщин. Средняя школа сто одиннадцать, конец детства. Вчера все были одинаковые, тнки и плюнь, и жили на каникулах, не думая о телах. Но тут сентябрь, физра, спортзал, и у одной девчонки под футболкой что-то оказалось. Не грудь ещё, пустяк, но все заметили, все смотрели туда, на эту штуку. Дина Дорогина. Я помнил её целую жизнь, а потом нашёл её, взрослую тётку, и вот сказка.

- Привет, Дорогина.
- Привет, Бабушкин. Ты как?
- Женат. Писатель. Ты?
- Привяжи себе два кирпича и попробуй уснуть.
- Что?
- Больно бегать. Больно прыгать. Невозможно спать. Лямки лифчика убивают.

Год за годом грудь росла, у всех росла, а у Дорогиной быстрее. Девчонки в туалете ввали про любовь, курили над разбитым унитазом, хохотали по-взрослому. Но без неё. Она была другой породы. К тому же у неё любовь уже была, один перспективный мальчик увёл её за гараж, разрисованный свастиками, потрогал под футболкой, кончил в землю и уехал с родителями качать газ куда-то невыносимо далеко.

– Писатель? Правда? Что пишешь?

– Тебя. Я давно собирался.

– Да. Ну слушай. На такое трудно найти одежду. В наших магазинах всё на пожилых коров. Чехлы для танка, прощай, молодость.

– Ещё.

– Смотрят в метро. Но это мелочь. Тут другое. Трудно... в пространстве.

– Внутренние ощущения от себя не совпадают с внешними?

– Хорошо сказал.

А я всегда хорошо говорил. Я уже в школе решил быть писателем. Но думал только о грудях. Мы были голодные и гнилые, нас мерила медсестра: рост, вес, клетка. Было важно, как экзамен. Даже парни надували грудь, хвастались объёмом. Я шёл последним и подглядел в журнале, сколько там у девчонок в сантиметрах. До сих пор помню те цифры. У Дорогиной уже тогда была трёхзначная.

– Вот ещё запиши: время. Мне хотелось маленькую, лёгкую, каменную, неподвижную грудь. Чтобы навсегда. Чтобы не предала, не изменилась. А моя сегодня ближе к земле, чем вчера. Время, Бабушкин. Время!

Что-то где-то с кем-то, бесплодные пьянки о жизни и много хреновой работы, и как-то разом пролетело много лет, и внезапно взрослая Дорогина встретила мальчика Даню, который был заика, потому что воевал. Они сели в кафе, и каждый спрятался за пивом.

– Расскажи о войне.

– Там небо высокое. Говорят по-другому. Зима поздно. А ещё там везде конопля растёт. Мы там дули неделями. От этого з-з-забываешь слова. Вот я держу нож. И не п-помню, как называется.

– Ты убивал людей?

– И не помню, как называется. Однажды принесли парня без рук, без ног и без г-г-г-г.

– Можешь потрогать мои сиськи.

– Спасибо.

Тот, кто улыбается мёртвым и живым, придумал, что живые врозь несчастны, а мёртвым ок. Даня и Дина стали снимать квартиру. Даня был задуман шаром, раздобыл в тепле, глаза заплыли и сочились нежностью. На тысячи километров стояла весна, и однажды утром голая Дина глядела в зеркало на самые большие сиськи в городе.

– Давай взвесим их.

– Не надо. Я люблю тебя всю.

– Встану на весы, а их положу тебе на ладони. Потом вста-

ну на весы целиком. Потом вычтем.

– Н-н-не надо.

– Почему?

– Тебе трудно. Не смотрят в глаза. П-п-похотливо трогают в троллейбусе. Я правильно сказал? П-похотливо. Ты такая умная и грустная, а всем нужны только они.

– Дурак. Дурак ты с толстыми руками.

Тот, кто придумал кошачий нос и тёплое море, не придумывал кошельков и будильников. Я двоечник и немного знаю, но это знаю точно. Дорогину не брали на работу. Никуда не брали. Как тогда, в школе. Надевала некрасивое, тёмное, широкое, но что-то такое было даже в глазах, что женщины – отвергали, а женщины – везде.

Мальчик Даня пошёл в охранники, куда ему ещё с войны. Он смотрел, как люди входят, покупают и выходят. Выпив, кончал заикаться и начинал кричать, что убил одиннадцать человек, но мне потом Дорогина сказала, что одного на самом деле. Ещё он думал – кто-то ляпнул на войне, – что всех спасёт любовь.

– Я л-л-л...

– Вот рюмка.

– Я люблю тебя, сука. Всю. До последнего куска. Я убью за тебя... и всё такое прочее.

Посередине фразы он протрезвел и испугался. А она заплакала от непонимания и набрала номер, в котором было семь единиц.

– Ты-то понял меня, Бабушкин?

– Наверно. Тот, кто назначил нас животными, распорядился, что мужчину едят целиком, а женщину подают кусками.

– Это в сказке. А в жизни?

– А в жизни я боялся выходить из дома, и целоваться, и танцевать. И отрастил себе вместо этого рассказы. А ты отрастила сиськи. И ты теперь они, ты в них, потому что все на них пялились.

– Ты тоже пялишься.

Семь единиц – это доставка девочек на дом. Так их называют – девочки, но чаще это тётки из окрестных городов, где трудно. Проституткой тоже трудно: страшная конкуренция и все одинаковые. Ну, так везде на свете. Но тут-то Дорогиной повезло, тут-то её проклятие стало фишкой. И если кто звонил и мялся – хочу, вы знаете, с огромными, ну это, – звали её.

Дане она сказала, что менеджером в одном проекте. Он так и не догадался. Он не поэтому избил её, а без видимых причин. Не знаю, стало ли ему легче, но, когда он шёл по лестнице с кровавыми кулаками, он напевал, точнее, мычал.

- Привет, Дорогина. Сказка почти закончена.
- Я думала, всё только начинается.
- Все так думают.
- А поймут, что это я?
- Нет. Я изменил имя. Тебя будут звать Дина Дорогина.
- Красиво!
- Да. У меня личный вопрос, не для сказки.
- Да?
- Ты всё время слегка улыбаешься. Тебе хорошо?
- Мне бывший парень выбил зуб, и ещё меня мнут за деньги. Хорошо ли мне? Ну, в общем, да, нормально. Мог бы и убить. Могла бы и кассиршей.
- Спасибо. Прости, что всё так устроено, я бы устроил иначе.
- Ничего. Можешь потрогать мои сиськи.
- Спасибо.

В сказке я придумал, что Даня к ней вернулся, извинился и заплакал, потому что вместе проще быть кусками.

А в жизни было так:

- Если что, – сказала она, – телефон знаешь.

Но я не позвоню. Я не люблю большие.

Песня про грязный дождь

Пётр и Полина жили вместе,
ели вместе,
гуляли вместе.
Некоторое время не спали вместе,
но это всё не про то.

Они носили одинаковые кольца и одинаково картавили.
Но она боялась дождя, а он – времени.

Утром, чтобы не закричать, Пётр надевал носки – дорогие, в чугунную клетку. Время лилось. Он, наклоняясь, видел вены – старость. Медленно выбирал рубашку с проводочным узором. Мял рукава костюма цвета серого кирпича. Тихо пищал, но всё-таки не кричал – и шёл на фабрику.

Полина собиралась быстро. Садилась на кровать и так сидела.

В полночь Пётр пинал дверь, пинал стену, пинал кошку, снимал надетое, смотрел на голую Полину, доставал литр водки, выпивал половину, осторожно вставал на колени, и его рвало – ни капли на брюки.

Во тьме все шуршало. За раковиной жил жук.

– Работай, кошка. Работай, – дрожала Полина.

Но кошка не ела жука. От Петра пользы не было тоже. Он спал на животе или делал вид, что спит.

Утром снова носки, писк, ужас – и Пётр шёл на фабрику, как много лет ходил. Там вязали шапки для слепых детей. Спереди сова, а сзади слова: «Я буду видеть!» Шапки хорошо продавались. Пётр был точен, аккуратен очень, всем владел и всё держал под контролем. Его уважали. Он даже выступал про социально ответственный бизнес.

Полина не могла работать из-за дождя. Если падала капля, если что-то где-то, ну, просто стучало, она набивала рот сигаретами.

Каждую полночь Пётр, если не пил, садился на пол и говорил:

– Я творец. Меняю мир. Создаю рабочие места. А ты... пустыня.

По пятницам ездили в бар, убедиться, что всё в порядке. Пётр водил пьяный, потому что был точен, аккуратен очень, всем владел и всё держал под контролем.

Пётр и Полина много пили,
громко пели
в автомобиле,
некоторое время посуду били,
но это всё не про то.

На фабрике работали одинаковые женщины без бумаг и без имён. Плохо понимали речь и вообще. Пётр знал, что работники ценят личное отношение, и бил их бракованными шапками по лицу.

– Подумай о детях, – говорил Пётр. – Слепые дети будут ходить в этом дерьме.

Полину он не бил. И сначала она ничего не боялась. Было хорошо: высокие потолки, твёрдые стены, окно в полмира, полный порядок и новое платье дважды в месяц. Однажды она спросила, сколько стоят эти платья и как насчёт дождя. Оставляет ли он сложновыводимые пятна. Так и сказала – сложновыводимые. Через год у Полины было две дюжины платьев, но она курила в день по две дюжины сигарет и почти не покидала квартиру. Дождь мог начаться когда угодно.

Пётр и Полина жили долго,
но не было никакого толка,
всякое покупали, только

это всё не про то.

Пётр боялся, что так и сдохнет без следа, поэтому собирал минералы, клал в шкаф и знал имя каждого. Однажды сделал стул с пятью ногами, красивый. Ночью, когда Пётр прятался в подушку, Полина не могла вспомнить его глаз.

– Работай, кошка. Работай, – дрожала Полина.

Но кошка не хотела никого греть. Она почти оглохла от ударов, ходила боком и растеряла нежность.

У Петра было шестьдесят клетчатых носков, тридцать проволочных рубашек и десять кирпично-серых костюмов. Он окружил себя правильными вещами. У него всё было расписано. Все контракты на шапки на год вперёд. Все речи. Полина, когда ещё не так боялась, видела его выступление. В зале сидели другие женщины в платьях ценою в жизнь и другие мужчины в клетку и в серость.

– Творец, – говорил Пётр, – это не выбор. Это гены.

День за днём шло как шло, и однажды дом лопнул, как рюкзак с камнями. Утром Пётр надел что положено, но так и не вышел. Ну, просто не вышел.

Потом у стула отломилась ножка.

Потом заболела Полина.

Она лежала.

Был жар, её трясло. Пётр принёс каких-то таблеток в коробке.

– Убери это от меня, – сказала Полина. – Убери. Эту. Воду.

Он привязал её к кровати, пытался поить насильно, Полина визжала, и он всё же вызвал врача. Тот уколол ей что-то и сказал, что нечего лечить.

– Это, – сказал врач, – обычно. Вы бы, – сказал врач, – видели, что я повидал. Чао.

Пётр оставил Полину спать с пачкой сигарет во рту. Надо было на фабрику. Там всё разладилось, вязальные станки стояли, и женщины стояли возле них. Одна вышла вперёд.

– Слепые дети, – прочитала она по бумажке, – не прозреют. И мы бы хотели зарплату.

День за днём шло как шло и не то чтобы было хуже. Пётр выгнал старых женщин и нанял новых. Ночью начался наконец настоящий дождь. Полина и не вставала. Такой дождь точно оставит сложновыводимые пятна на чём угодно.

Пётр и Полина,

эх, Пётр и Полина.

Кажется, это слишком длинно.

Посмотрим, кто кого сделал из глины.

Но это всё не про то.

Пётр вернулся рано. Дома было сыро. За окном стучало. Из окна текло. Пол был в следах от мокрых пяток.

Не хватало одного платья, одной пары туфель, одной дорожной сумки, кошки и Полины. Кровать была заправлена, пепельница – вымыта.

Пётр взял её, осторожно осмотрел, он спешил, его ждали, надо было переодеться к очередной речи, но он ещё раз обошёл всё, просто для порядка, быстро обошёл, он же спешил, стекло в подошве закрипело по полу – ага, пепельница, подумал Пётр, хорошо, что не снял ботинки, но он спешил, не было времени думать дальше, надо было спешить – ага, пепельница, – его ждали, надо было переодеться к очередной речи – очень быстро, быстрее обычного снять и надеть носки и так далее, а в зале уже сидели люди, свет бил в лицо, Петру потемнело, ему показалось, что нет ничего перед ним, ну просто ничего нет, что он вообще дома, лежит лицом в подушку и пропадёт уже завтра.

Он подышал, тихо пискнул, но всё-таки не закричал и очнулся. Потому что был точен, аккуратен очень, всем владел

и всё держал под контролем. Поклонился; похлопали.

– Вся моя жизнь, – начал он, – созидание.

Волна шестая

Воды, еды и радостей хватало. Пришла и отступила буря, и солнце над морем встало навечно. Из заколоченных окон не было видно танков. Но откуда-то было ясно, что там, за холмами, – ждут. Видимо, те, снаружи, решали, рискнуть ли заложниками.

И решили: наутро явился снайпер. Он перебил посуду, искорёжил зонтики и лежаки, ранил дядьку в сумку, а тётку в шляпку, и всё это было довольно глупо, пока пуля не влетела в горло младшему из братьев.

Мальчик лёг на фальшивый мрамор. Он был ещё жив, и братья положили ему под голову пляжное полотенце.

– Ж-ж-ж, – сказал Али.

Мы ждали.

– Жизнь. Помню то лето. Помню, пошёл на войну. Я знал, что всё равно куда идти, что где-то обязательно воюют. Взял игрушечный пистолет, мне было три. Помню, сосед похвалил: красивая пушка. А я спросил: а где война? Но он молчал. И я пошёл. И шёл, пока не остановили. Какая-то женщина вернула меня домой. Не помню, что сказали родители.

ли. Может, били. Может, обняли. Это теперь я не знаю, что это. Жизнь. Раньше-то было ясно. Жизнь – это ещё. Идти куда-то. Ещё дальше. Пробовать войны, страны, еду, людей. Сколько попробовал, столько жил. Ещё.

Полотенце стало вишнёвым.

Видимо, я не много жил. Больше читал про это. Десять способов упасть с Килиманджаро. Сто причин для эмиграции в Антарктиду. Я смотрел в интернете, как сношаются тигры, и представлял, что где-то рядом сосу коктейль из красивой трубочки. Совсем как этот.

– Ты пел надо мной, пел для меня, пел против меня, выменивая людей на завитушки. Спой теперь со мной. Подари ему немного жизни.

Я допил остатки, погрыз трубочку, встал над умирающим ребёнком и спел про дальние края.

Девочка, которая убила Курта Кобейна

Ненавижу вещи на «С»: смерть, свиные сардельки, субординацию. А на «Б» у меня бессонница, блядь.

Девочка, которая в апреле 1994 года убила Курта Кобейна, прыгнула голая на табурет и чирикнула: ночь-ночь. Давай, мол. Я выпил водки с колесом, медленно вдохнул, закрыл глаза и начал рассказ.

Был бы рыба – говорил бы с людьми.

А был бы человеком – жил бы по-человечески.

– Ну что, брат-рыба. Тебе в суп. А мне тебя резать.

– Смелей, брат-человек. У меня отсутствует участок мозга, отвечающий за болевые ощущения. Увидимся в раю.

Перед смертью Курт Кобейн написал воображаемому другу. Про ребёнка, которому и без отца хорошо, и про мир, в котором ничего не изменится. Это потом, а сначала представьте штат Вашингтон. Тупой холодный океан и ёлки, вот и штат, представлять нечего.

Девочка, которая в апреле 1994 года убила Курта Кобейна, говорит: там кругом страшные длинные люди с головами скатов. И все живут в огромном аквариуме на вершине горы.

И когда внизу океан волнуется, вода на вершине плещет в лад. Этих людей можно гладить. Только не хвостик. Хвостиком они насмерть. Девочка их гладила, ей было пять. Я – нет.

Она провела в Сиэтле год. Отец был большой русский океанолог и занимался болью. Он мучил радужную форель. Впрыскивал ей в рот кислоту и делал другие гадости. Это важная проблема, боль рыб. Считается, что её нет, потому что у рыб нет мозгов, чтобы страдать. Про людей иногда то же самое говорят.

Рыбы реагировали: дёргались и тёрлись губами о камни. Отец точно установил, что форель испытывает неприятные ощущения, но не смог однозначно заключить, больно ли ей. «В результате воздействия внешних раздражителей у форели возникли глубокие поведенческие и физиологические изменения», – написал он и пошёл в сырой хвойный лес пить водку с колесом, а девочка осталась играть в шишки.

Она тоже испытывала глубокие поведенческие изменения, как всякий пятилетний ребёнок, на которого отцу насрать. У неё были огромные жёлтые трусы. Она-то хотела купальник, потому что уже взрослая. Но родители не считали, что ребёнка нужно одевать красиво. Вот пусть подрастёт.

Если мне за этот рассказ заплатят, я засну и проснусь и

куплю девочке купальник, потому что она уже подросла.

У Курта Кобейна тоже были проблемы в семье. Его родители всё дрались и бухали. В предсмертной записке он это упомянул.

В тот день, в начале апреля, двадцать тысяч человек убили себя. Это примерно. Никто о них ничего не напишет. Впрочем, в соседнем штате на кровати официантка нюхала пальцы. Думала: вот и старость, ещё немного – и всё. Закрывает глаза и положила в рот ладонь таблеток. А ещё одного мужика нашли с отстреленной головой, как Кобейна. Но про него вообще ничего не известно, какой-то дальнобойщик.

Отец девочки был высокий, как два Кобейна. Строгий, бородатый и в огромных советских очках с кривыми линзами. Правда очень высокий, два метра. Он ездил к рыбам на чужом «шевроле» и зло шутил. Он говорил, что у форели боли нет, только радуга. От моих шуток девочка тоже плачет, хотя уже подросла и может носить купальник. Я шутками что-то такое подчёркиваю, что не надо подчёркивать. Есть фото: девочка, отец и «шевроле». Курт Кобейн в кадр не попал, хотя был совсем рядом.

Америка удивительная, когда тебе пять. И огромные там шишки, огромные. Девочка нашла в лесу американских детей – много мальчиков, жирных, как скунсы, и страшных,

как скаты. Они поиграли в шишки и как-то объяснились, во-все без английского. Девочка сказала, что папа скоро придёт, придёт папа скоро, а вон за той ёлкой дают арбузы, и надо успеть, а то кончатся.

И вот самое важное место в рассказе. Они играли в шишки и арбузы, а мимо шёл Курт Кобейн. Он увидел эти шишки, эти палатки и пикапы, росу на капотах. Увидел туман и в тумане – русскую девочку в жёлтых трусах. И много маленьких толстых мальчиков. Девочка водила их вокруг ёлок. Все орали и выглядели счастливыми.

Курт Кобейн ещё раз посмотрел на девочку, пошёл домой, выпил чаю или что там у него было, медленно вдохнул, закрыл глаза и убил себя в голову.

I think I simply love people too much, so much that it makes me feel too fucking sad. The sad little sensitive, unappreciative, Pisces, Jesus man.

Девочка сказала, что почти всё правда. Но её привезли в Сиэтл только в мае, во всяком случае, было уже тепло и Курт Кобейн был мёртв. Я сказал, что тогда за рассказ не заплатят. Девочка, которая в апреле 1994 года убила Курта Кобейна, прыгнула голая на табурет и чирикнула: ночь-ночь. Люблю, мол, тебя всё равно.

Водки нет, колёса кончились, вот рассказ.

Я представляю: тупой холодный океан и молодой мужчина с крюком во рту. Скалы, ёлки. Он молчит и, кажется, не испытывает боли. Рыбак смотрит в его пустые от счастья глаза и отпускает в воду, потому что на некоторых берегах так бывает. Там никогда не поздно.

Волна седьмая

Было много живых детей и один мёртвый.

Забыв, как двигаться, Али случайно тыкал пистолетом: себе в сердце, потом в небо, потом в меня.

– Страшно?

Конечно, страшно. Как всегда. Не жил ни дня без страха. Работал – побольше, чтоб не уволили. Ел – побыстрее, пока не забрали. Обнимал – покрепче, чтоб не разлюбили. Пел – про вечное, чтобы не кончиться.

– Счастливый. Умрёшь у моря.

А я не то чтобы верю в море. Главное с ним – не мигать. Зажмурился – снова весёлая юность, ничего ты не добьёшься, никогда не напечатают, у других уже дети, а у тебя воспалился лоб и надо выходить на работу в морг, а то продавцом не взяли – мало впариваю. Сильнее зажмурился – глубже провал, снова спокойное детство, завтра в школу, будем разыгрывать гуманитарную помощь в лото, лишь бы тушёнка, только бы не чай. И надо получать одни пятёрки, иначе будешь как сосед, у которого купили квартиру за ящик спирта, и перед смертью он из Пал Иваныча перевоплотил-

ся в «того алкаша». Вот море – не выиграл его в лото, не купил за спирт, заработал честно, но всё не верю. Потому что на исходе счастливой молодости все трудятся, всем трудно, но нет никакого моря в награду, максимум – море в кредит. Нет, я учусь не бояться утрат, не работать по воскресеньям, не съедать по три десерта и не пихать апокалипсис в каждую строчку. И вроде вот оно, море, – квадриллион кубометров живого. И песочек тёплый и плотный, как тело. Но это много работы, поверить в море.

Так я подумал и соврал ему:

– Не страшно.

– Ну и чёрт с тобой, – сказал Али. – Спой о детях. Спой о детях, и я отпущу детей. Всех.

Стереометрия

– Купи куб мышей, – сказала мама, – Пиня голодный.

Маме не хватало человеческого тепла, и она взяла питомца. Пиня жил в прямоугольной чугунной ванной объёмом сто сорок четыре литра, мылись мы у соседки, а мама её за это стригла. У соседки тоже не было мужа, была слабоумная дочь моих лет и лысый попугай на кухне, но она ещё не потеряла надежду и хотела каре. Сложно всё у взрослых, я и тогда не вникал, и сейчас не буду.

– Купи куб мышей, – сказала мама, – или я сожгу твои книги.

Я часто представлял, что Пиню засосало в трубу, а потом вообще всех, и никто уже не мешает заниматься стереометрией.

Кормили его на последние деньги. Мама продала на дрова, что было, и пошла наконец редактором сайта для инвалидов. Следила, чтобы они не поубивали там друг друга при знакомстве.

«Инвалид третьей группы, пока не бессрочной. В тонусе

держало и держит пристрастие к игре на басу, хочу поступить в эстрадно-джазовое училище».

«Инвалид первой группы с ампутацией обеих кистей рук и правой стопы. Курю, пью редко, наркотики не употребляю и ненавижу тех, кто употребляет их. Был женат, остальное при переписке».

«Инвалид первой группы, не хожу, деревенская, простая, одинокая, не хожу».

– Почти как я! – шептала мама и дула в кулак. – Почти как я.

Я закрывал глаза и вычислял в уме объём цилиндра с диаметром основания три километра и высотой до неба.

– Купи куб мышей, – сказала мама. Я надел три свитера и пошёл.

Рынок был до горизонта. Сначала птичьи и звериные, змеиные ряды. Потом скот. У самой реки люди. От мороза все молчали. На прутьях застывало дыхание. Лишь собачницы спорили, когда сойдут снега и вернётся солнце. Преобладала версия, что никогда.

В самом дальнем углу квартала живых и мёртвых кормов

сидела старуха. Старуха шептала:

– Мышки-малышки, мороженые мышки. Мышки-малышки, мороженые мышки.

Однажды мышь укусила Пиню, он их начал бояться, и мама, плача громче обычного, повышала ему самооценку – гладила и так далее. Мы перешли на мороженых, грели их на плите и шевелили потом палкой, имитируя жизнь. Пиня страдал и стал совсем вялый.

– Каких тебе, мальчик? – спросила старуха.

Змеёныши едят новорождённых. Подростки – едва обросших мехом мышат. Взрослые – взрослых. Общее правило: окружность корма не должна превысить окружности питона. Я ткнул в нужных и дал деньги.

– Мало, – сказала старуха. – Подорожали. Придётся отрабатывать. Привыкай к жизни. Сложишь из них башню – один твой.

Для ледяного куба со стороной в локоть формула расчёта объёма – локоть на локоть на локоть. Площадь поверхности – шесть на локоть в квадрате. Это если грани ровные и из них не торчат хвосты и лапы. Площадь поверхности ледяного октаэдра, полного мёртвых мышей, – два на локоть

в квадрате на квадратный корень из трёх. Додекаэдра – три на локоть в квадрате на квадратный корень из пяти скобка открывается пять плюс два на квадратный корень из пяти скобка закрывается. Икосаэдра – пять на локоть в квадрате на квадратный корень их трёх.

Я вернулся к ночи. Мама стояла в центре кухни, равноудалённо от стен. Бутылка в руке была пуста ровно наполовину.

– Пиня помер, – сказала мама.

Я поставил куб и пошёл к учебникам.

Наутро мама привела мужчину, сказала, что это Саня с сайта, что Саня похоронит Пиню и вообще будет помогать.

У Сани не было руки, он только путался и мычал, потому что был ещё и немой, как я, и всю работу делали мы с мамой, долбили твердь лопатами, пихали туда коробку с питоном, но слишком давно всё промёрзло. И мы просто сунули Пиню в сугроб, всё равно весна нескоро, если будет вообще. Саня как мог погладил маму, а я пошёл делать уроки. Губы дрожали. Главное было не улыбаться. Я был счастлив. Счастлив на счастлив на счастлив. Я был так же счастлив лишь много лет спустя, когда выучил все объёмы, все формулы, выучил всё и всё сдал, поступил, куда хотел, и вырвался, вырвался, вырвался отсюда.

Я начинаю путь

Пёпа спросил у папы, как было в Советском Союзе. Тот потыкал палкой в снег и показал коричневые листья.

– Красиво?

– Распад!

Больше ни до, ни после не говорили. От папы остался магнитофон. Голоса смеялись:

потолок ледяной дверь скрипучая
за шершавой стеной тьма колючая
как пойдёшь за порог всюду иней
а из окон парок синий-синий.

Дразнили Попой, Пипой, Петухом. Был бы папа, научил бы защищаться. Научил бы бросить их на лёд. Лишь один во дворе был смешнее Пёпы: больной Вова, который приделал колёсики к чучелу птицы и так ходил, а ему кукарекали вслед. В Советском Союзе так не делали. Зима ушла, магнитофон запел:

один раз в год сады цветут
весной любви один раз ждут
всего один лишь только раз

цветут сады в душе у нас
один лишь раз
один лишь раз.

Кроме Пёпы и Вовы, все росли и выросли, особенно девочки. В Советском Союзе они были другие, серьёзные и добрые, он видел фильмы. А в жизни их уже перетрогал Хоха. Входили к нему и входили, чтобы снова выйти в слезах. У него уже был даже бизнес: воровал или бил кого-то. Пёпа знал, что всё это плохо, а хорошо — коммунизм, это молодость мира, это любовь, но как любить, кого любить и само-го-то кто полюбит? В книгах не было ответа, со значков улыбался не знающий страха мальчик Ленин, нетронутые Хохой девочки летали в плохо нарисованный космос, а магнитофон советовал этим летом убить себя, но Пёпа старался не слушать:

на дальней станции сойду

травы по пояс
зайду в траву как в море босиком
и без меня обратный
скорый-скорый поезд
растает где-то в шуме городском.

Никто уже не пихал музыку в ящик, её брали из воздуха, из интернета. Там было проще. Там Пёпа умел поспорить. Мог привести цитату про аппарат насилия. Про сегодня что

для завтра сделал ты. Вживую это всё кончалось. А потому что Хоха был вживую и вроде Хохи, взрослые, даже лысые. Вживую был Вова, он ходил в большом мужском костюме, но так и не заговорил и не расстался с чучелом. Магнитофон грустил за всех, особенно за маму, которая всё это время просто устало была и курила в окно, старея в неделю на год:

там где мне в ладони звёзды падали
мокрая листва грустит на дереве
до свиданья лето до свидания
на тебя напрасно я надеялась.

Все красивые родили моментально и стали некрасивыми. Двор опустел и заполнился новым поколением людей. Женские песни звучали глухо и по-мужски. Будто мёртвый папа гудел оттуда. Магнитофон состарился. Пёпа понёс его в дождь в ремонт, но там уже были пустые окна. Рядом закрылся часовой магазин, а до него книжный. Всё советское было не нужно. На обратном пути Пёпа встретил Хоху с парнями и Вову. Хоха продал что мог, дела не шли.

– Не надо.

Хоха не слышал. Он отбирал у больного птицу, а тот мычал.

– Не надо.

- Петуха с ящиком не спросили.
- Не надо. Я отдам магнитофон. Он дорогой.
- Давай.
- Починю и отдам. Он будет дороже.
- Когда?
- Завтра.
- Завтра?
- Завтра.
- Давай сейчас.

Пёпа ударил его магнитофоном. Хоха упал и заплакал кровью. Магнитофон совсем сломался. Было гордо и красиво, как будто смотрит папа. Пёпа хотел добавить, что ничего смешного, что он – Пётр Палыч, взрослые же люди, нормальное имя, но лишь кашлянул в тишине.

Волна восьмая

Под взглядом невидимых снайперов, под шёпот невидимых дронов днём я на пляже выкладывал камушки-ракушки, камушки-ракушки, от линии бара до линии волн. А ночью игрался с памятью. Подлости-глупости, подлости-глупости. За что-то платили больше, за что-то меньше, но точного курса не было. За мелкую ерунду сходил в горы, за нормальное такое предательство – просто вкусно поужинал. И вот я тут, в беззвёздном отеле на руинах Карфагена.

Мир замер. Растворились повара. Пропал продавец полотенец. Исчезли горничные. Я перестал понимать, кого и зачем отпускают, кто и зачем остаётся. Где мы, где братья, где враги. Брюнетка, что звала меня, давно уже ходила с одно-руким в камуфляже. Бассейн зарос какими-то выюнами, а у бассейна бывшие охранники, кончив таиться, целовались и читали друг другу стихи. Было уже непонятно, кто у кого в плену. Если выживем, мы понесём на губах поцелуи наших убийц. Если выживем, наши женщины забеременеют убийцами. Если выживем, сами научимся убивать.

– Завтра последний штурм, – сказал Али и улыбнулся.

– Можешь тогда без бак, без всей этой вязи ответить на три простых вопроса? Кто ты, чего ты хотел и что с нами будет?

– Ты хочешь три самых важных ответа – за что? За сраную песенку?

– Не так уж плохи эти песенки. Я получил за них жизни.

– А может, это и был мой план? Всех отпустить и послушать, как ты попусту срываешь голос?

– Так в чём твой план?

– Ты видел столько фильмов про войну. Разве заложникам говорят правду?

– Но один герой всегда угадывает.

– Но это не ты.

Я подумал, обиделся и сказал:

– Ну и пошёл ты в задницу. Двоюродный брат Пророка.

Али засмеялся.

– Я скажу тебе план, но на ближайший час. Я хочу, чтобы всё смешалось. Постояльцы и братья, совсем, окончательно. Чтобы, когда они вышли с поднятыми руками, был шанс на обычную жизнь. Они выйдут, а я останусь оборонять крепость. Я прошу тебя – в пистолете осталась одна пуля, она для меня, так что я просто тебя прошу – спой обратный отсчёт. Окей?

– Окей. Звучит красиво.

Ночь ноль

Десять

Мне десять. Не знаю, что за десять, но надо расти. Я люблю яблоки, потому что с ними всё понятно. Люблю окно, потому что в нём тоже порядок: слева дом, дом, дом, справа дом, дом, дом, посередине школа.

С десятого этажа всё видно. Снизу ходит жуткий Помидор, пугает мелких. Снизу банда Апцова, их база – песочница, и банда Капцова, их база – берёза.

Сверху – Большая Медведица, похожая на мертвеца, и Малая, похожая на петлю. И ещё Кассиопея – у неё два треугольника, и я представляю там голые груди моих учительниц.

В школе вообще хорошо. Мелкие играют в си-фу, в банку, в пни-пойми и в молчанку:

шёл царь по полю крови
нёс с собой ведро любви
кто слово пикнет
тот ведро и выпьет.

Ещё играют в гору.

– Дать тебе гору игрушек – ты ложку говна съешь?

Правильно отвечать: ты свою гору засунь себе в нору.

– А если ложка чайная, а гора необычайная?

Тут я пока не знаю ответа.

Девять

Учителя тоже все хорошие. С каждым что-то не так. Рисования глухой, русского – картавый, нерусского – хромой, у музыки – девять пальцев. Хотела стать великой баянисткой, но что-то там ужасное вышло, и теперь она с нами.

На музыке надо угадать, иволга или таволга и сколько было Бахов. Илона Ивановна всегда интересно рассказывает.

– Нот девять, как грехов. До – похоть, она всего основа. Ре – чревоугодие. Ми – алчность. Фа – уныние. Соль – гнев. Ля – зависть. Си – гордыня, она всему вершина. Восьмая и девятая тайные. К доске, Бабушкин. Запиши.

Похть, червугоди, алщнос, уныне, гнеф, завясь, гардыня, прочерк, прочерк.

– Что это, Бабушкин? Ты совсем не любишь музыку!
И вlepила мне ноль.

И я заплакал, а когда слёзы кончились, среди знакомых звёзд возникла новая. Почти рассвело.

Восемь

Кометы к нам уже летали, но мимо.

Бывает, все начнут кидаться в птиц, чтобы не мешали нашему трепету. Не знаю, что за трепет, но надо дрожать. Или дворники умоются снегом и подожгут помойки, чтобы в новом порядке не было грязи. Из-за них однажды полмира сгорело. Но это всё зря.

Двор, он же мир, имеет два конца, четыре края и восемь смыслов. Края отлично видно из окна, а про смыслы нам расскажут на географии, когда и если вырастем. А пока Светлана Семёновна говорит, чем Австрия отличается от Австралии, а Швеция от Швейцарии. Я думаю, что ничем, потому что всё равно их нет.

Однажды я так и сказал, и все засмеялись, хотя думали точно так же.

Светлана Семёновна тоже довольно красивая, но её треугольники не так остры, а от её нолей не так больно.

Семь

Комета распухла быстро, и мелкие пока не волновались, а учителя сразу поняли, что всё, пора. Математик диктовал:

– В си же времяна бысть знамение на западь: звёзда преевелика, лоуча имоущи кровавы, въсходяще с вечера о заходь солнечномь. И пребысть за седмь дний. Се же проявляше не на добро. Седмь – это семь, ясно?

Он говорит, что учит нас не простой, а высшей математике, но мне кажется, он просто читает нам из выдуманных книг.

– Того же лета гибель солнцу, яко погибнути ему ся оста, яко месяц дву дни, майя въ 21 день.

– Виктор Валентинович, а можно про дроби?

– Нельзя. Я каждый день вижу в окно эту ёбаную смерть. Того же лета земля стукну, яко мнози слышавше.

Шесть

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.